

Маргарита АЛИГЕР

З О Я



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
№ 26
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА — 1946

Маргарита АЛИГЕР

З О Я

ПОЭМА

Издательство „Правда“

Москва — 1946

МАРГАРИТА АЛИГЕР

Маргарита Иосифовна Алигер родилась в 1915 году. Первые её стихи были напечатаны в журнале «Огонёк» в 1933 году. С 1934 — 1935 годов стала печататься регулярно в журнале «Знамя», а также в центральных газетах.

Первая книга стихов, «Год рождения», вышла в 1938 году в издательстве «Советский писатель». В 1939 году вышел сборник «Железная дорога», в 1940 году — «Камни и травы».

Во время войны работала в газетах «Сталинский сокол» и «Сокол Родины».

За 1941 — 1944 годы выпустила сборники стихов: «Памяти храбрых», «Лирика», «Стихи и поэмы», поэму «Зоя». Кроме того написала пьесу «Сказка о правде». В последние месяцы войны закончила поэму «Твоя победа», напечатанную в журнале «Знамя» в 1945 году.

Поэма «Зоя» была удостоена Сталинской премии.

В первых числах декабря 1941 года в селе Петрищеве, близ города Вереи, немцы казнили восемнадцатилетнюю комсомолку назвавшую себя Татьяной. Она оказалась московской школьницей Зоей Космодемьянской.

(Из газет)

ВСТУПЛЕНИЕ

Я так приступаю к решению задачи,
как будто конца и ответа не знаю.
Протёртые окна бревенчатой дачи
раскрыты навстречу московскому маю.

Солнце лежит на высоком крылечке,
девочка с книгой сидит на пороге.

«На речке, на речке,
на том бережёчке,
мыла Марусенька белые ноги...»

И насквозь пронизана песенка эта
журчанием речки и смехом Маруси,
окрашена небом и солнцем прогрета...

«Плыли к Марусеньке
серые гуси...»
Отбросила книгу, вокруг поглядела.
Над медными соснами солнце в зените...
Откинула голову, песню допела:

«Вы, гуси, летите,
воды не мутите...»

Бывают на свете такие мгновенья,
такое мерцание солнечных пятен,
когда до конца исчезают сомненья

и кажется: мир абсолютно понятен.
И жизнь твоя будет отныне прекрасна —
и это навек, и не будет иначе.
Всё в мире устроено прочно и ясно.
Для счастья, для радости, для удачи.

Особенно это бывает в начале
дороги,
 когда тебе лет ещё мало,
и если и были какие печали,
то грозного горя ещё не бывало.
Всё в мире открыто глазам человека.
Он гордо стоит у высокого входа.

...Почти середина двадцатого века.
Весна девятьсот сорок первого года.

Она начиналась экзаменом школьным,
тревогой неясною и дорогой,
манила на волю мячом волейбольным,
игрою реки, тополиной пургой.

Московские неповторимые вёсны.
Лесное дыхание хвои и влаги.

...Район Тимирязевки, медные сосны,
белья на верёвках весёлые флаги.

Как мудро, что люди не знают заранее
того, что стоит неуклонно пред ними.

— Как звать тебя, девочка?

— Зоей. —

— А Таня?

Да, есть и такое хорошее имя.

Ну, что же, поскольку в моей это власти
тебя отыскать в этой солнечной даче,
мне хочется верить, что ждёт тебя счастье,
и я не желаю, чтоб было иначе.
В сияющей рамке зелёного зноя,
на цыпочки приподымаясь немножко,
выходит семнадцатилетняя Зоя,
московская школьница-длинноножка.

ПЕРВАЯ ГЛАВА

Жизнь была скудна и небогата.
Дети подрастали без отца.
Маленькая мамина зарплата, —
месяц не дотянешь до конца.

Так-то это так,
а на поверку
не скучали.

Вспомни хоть сейчас,
как купила мама этажерку,
сколько было радости у нас.
Столик переставь, кровати двигай,
шума и силёнок не жалея.
Этажерка краше с каждой книгой,
с каждым переплётom веселей.
Скуки давешней как не бывало!
Стало быть, и вывод будет прост:
человеку нужно очень мало,
чтобы счастье встало в полный рост.

Девочка, а что такое счастье?
Разве разобрались мы с тобой?
Может, это значит — двери настезь,
в ветер окунуться с головой?
Чтобы хвойный мир колот наощупь
и горчил на вкус
и чтобы ты

в небо поднялась,
— чего уж проще б! —
а потом спустилась с высоты,
Чтоб перед тобой вилась дорога, —
ни конца, ни края не видать.
Нам для счастья нужно очень много,
столько, что и в сказке не сказать.
Если в сказке не сказать, так скажет
золотая песня, верный стих.
Пусть мечта земной тропинкой ляжет
у чинённых тувфелек твоих.

Всё, за что товарищи боролись,
Всё, что увидеть Ильич хотел...

Чтоб уже не только через полюс, —
вкруг планеты Чкалов пролетел.
Чтобы меньше уставала мама
за проверкой письменных работ.
Чтоб у гор Сиерра-Гвадарамы
победил неистовый народ.
Чтоб вкруг сливались воедино
вести из газет, мечты и сны.
И чтобы папанинская льдина
доплыла отважно до весны.

Стала жизнь богатой и весёлой,
ручейком прозрачным потекла,
Окнами на юг стояла школа,
вся из света, смеха и стекла.

Места много, мир ещё не тесен.
Вечностью сдаётся каждый миг.
С каждым днём ты знаешь больше песен,
с каждым днём читаешь больше книг.
Девочка, ты всё чему-то рада,
всё взволнованней, чем день назад.
Ты ещё не знаешь Ленинграда!
Есть ещё на свете Ленинград!

Горячась, не уступая, споря,
милая моя, расти скорей.
Ты ещё не видывала моря,
а у нас в Союзе сто морей.

Бегай по земле, не знай покоя,
всё спеши увидеть и понять.
Ты ещё не знаешь, что такое
самого любимого обнять.

Дверь толкнёшь — и встанешь у порога,
Все-то мы с утра чего-то ждём.
Нам для счастья нужно очень много.
Маленького счастья не возьмём.
Горы на пути — своротим гору,
вычерпаем реки и моря.
Вырастай такому счастью впору,
девочка богатая моя.

И встал перед ней переполненный мир,
туманен и солнечен, горек и сладок.
Из светлых садов, коммунальных квартир,
насушенных забот, постоянных нехваток.
Из разных поступков и разных людей.
Он встал перед ней и велел ей пробиться
сквозь скуку продмаговских очередей,
сквозь длинную склоку квартирных традиций.

Он встал перед ней, ничего не тая,
во всей своей сущности, трезвой и чёрствой.
И тут начинается правда твоя,
твоё знаменитое единоборство.

Правда твоя.

Погоди, не спеши.
Ты глянула вдаль не по-детски сурово,
когда прозвучало в твоей тиши
это тяжёлое русское слово.
Не снисходящее ни до чего,
пристрастное и неподкупное право.
Звучит это слово,

как будто его
Ильич произносит чуть-чуть картаво.
И столько в нём сухого огня,
что мне от него заслониться нечем,
как будто бы это взглянул на меня
Дзержинский,

накинув шинель на плечи.
И этому слову навеки дано
быть нашим знаменем и присягой.
Издали пахнет для нас оно
печатною краской, газетной бумагой.

Так вот ты какой выбираешь путь!
А что, если знаешь о нём понаслышке?
Он тяжкий.

Захочется отдохнуть,
но нет и не будет тебе передышки.
Трудна будет доля твоя, трудна.

Когда ты с прикушенной губою
из школы уходишь домой одна,

не зная, что я слежу за тобою.
Или, когда отвернёшься вдруг,
чтобы никто не увидел, глотая
упрёк педагога, насмешку подруг,
не видя, что я за тобой наблюдаю.
Я подойду и скажу тебе:

— Что ж,
устала, измучилась, стала угрюмой.
А может, уже поняла: не дойдёшь.
Пока ещё можно свернуть, подумай.
Не долго в твои молодые лета
к другим, не к себе, относиться строже.
Есть прямолинейность и прямота,
но это совсем не одно и то же.
Подруги боятся тебя чуть-чуть,
им неуютно и трудно с тобою.
Подумай: ты вынесешь этот путь?
Сумеешь пробыться ценою любовью?
Но этот настойчивый, пристальный свет
глаз, поставленных чуточку косо.
Но ты подымаешься мне в ответ,
и стыдно становится мне вопроса.
И сделалась правда повадкой твоей,
порывом твоим и движеньем невольным,
в беседах со взрослыми,
в играх детей,
в раздумьях твоих и в кипении школьном.
Как облачко в небе,
как след от весла,
твоя золотистая юность бежала.
Твоя пионерская правда росла,
твоя комсомольская правда мужала.
И шла ты походкой, летящей вперёд,
в тебе приоткрытое тайное завтра,
и над тобою, как небосвод,
сияла твоя большевистская правда.

И, устав от скучного предмета,
о своём задумаешься ты.
...Кончатся зачёты...

Будет лето...

Сбивчивые пёстрые мечты...
Ты отложишь в сторону тетрадку.
Пять минут потерпит! Не беда!
Ну, давай сначала,

по порядку.

Будет всё, как в прошлые года.
По хозяйству сделать всё, что надо,
и прибраться наскоро в дому,
убежать в берёзы палисада,
в жёлтую сквозную кутерьму.
И кусок косою недолгой тени
в солнечном мельканье отыскать
и, руками охватив колени,
книжку интересную читать.
Тени листьев, солнечные пятна...
Голова закружится на миг.
У тебя составлен аккуратно
длинный список непрочтённых книг.
Сколько их!

Народы, судьбы, люди...

С ними улыбаться и дрожать.
Быть собой и знать, что с ними будет,
с ними жить и с ними умирать.
Сделаться сильнее и богаче:
с ними ненавидя и любя.
Комнатка на коммунальной даче
стала целым миром для тебя.
Вглядываться в судьбы их и лица,
видеть им невидимую нить.
У одних чему-то научиться
и других чему-то научить.
Научить чему-то

Но чему же?

Прямо в душу каждого взглянуть,
всех проверить, всем раздать оружие,
всех построить и отправить в путь.
Жить судьбою многих в каждом миге,
быть сильнее придуманных твоих...

Только разве так читают книги?
Так, пожалуй, люди пишут их.

Может быть.

И ты посмотришь прямо
странными глазами.

Может быть.

С тайною тревогой спросит мама:

— Ты решила, кем ты хочешь быть? —

Кем ты хочешь быть!

И сердце взмлет
прямо в небо.

Непечатый край
дел на свете.

Мир тебе откроет
все свои секреты.

Выбирай!

Есть одно,

заветное,

большое, —

как бы только путь к нему открыть?

До краёв наполненной душой

обо всём с другими говорить.

Это очень много, понимаешь?

Силой сердца, воли и ума

людям открывать всё то, что знаешь

и во что ты веруешь сама.

Заставлять их жить твоей тревогой,

выбирать самой для них пути.

Но откуда, как, какой дорогой

к этому величию притти?

Можно стать учительницей в школе.

Этим ты ещё не увлеклась?

Да, но это только класс, не боле.

Это мало, если только класс.

Встать бы так, чтоб слышны стали людям

сказанные шопотом слова.

Этот путь безжалостен и труден.

Да, но это счастье.

Ты права.

Ты права, родная, это счастье —

всё на свете словом покорить.

Чтоб в твоей неоспоримой власти

было с целым миром говорить,
Чтобы слово музыкой звучало,
деревом диковинным росло,
как жестокий шквал, тебя качало,
как ночной маяк, тебя спасло.
Чтобы всё, чем ты живёшь и дышишь,
ты могла произнести всегда,
а потом спросила б землю:

— Слышишь?

И земля в ответ сказала б:

— Да.

Как пилот к родному самолёту,
молчаливый, собранный к полёту,
трезвый и хмелеющий идёт,
так и я иду в свою работу,
в каждый свой рискованный полёт.
И опять я счастлива, и снова
песней обернувшееся слово
от себя самой меня спасёт.

(Путник, возвращаясь издалёка,
с трепетом глядит из-под руки —
так же ли блестят из милых окон
добрые, родные огоньки.

И такая в нём дрожит тревога,
что передохнуть ему нельзя.
Так и я взглянула от порога
в долгожданные твои глаза.

Но война кровава и жестока,
и, вернувшись с дальнего пути,
можно на земле

ни милых окон,
ни родного дома не найти.

Но осталась мне моя отвага,
теж, что не вернутся, голоса,
да ещё безгрешная бумага,
быстролётной песни паруса.)

Так и проходили день за днём.
Жизнь была обычной и похожей.
Только удивительным огнём
проступала кровь под тонкой кожей.
Стал решительнее очерк рта,
легче и взволнованней походка,
и круглее сделалась черта
детского прямого подбородка.

Только, может, плечики чуть-чуть
по-ребячьи вздёрнуты и узки,
но уже девическая грудь
мягко подымает ситец блузки.
И ещё непонятая власть
в глубине зрачков твоих таится.
Как же это должен свет упасть,
как должны взлететь твои ресницы,
как должна ты сесть или привстать,
тишины своей не нарушая?
Только вдруг всплеснёт руками мать:
— Девочка, да ты совсем большая!

Или, может, в солнечный денёк
на исходе памятного мая
ты из дому выбежишь, дружок,
на бегу на цыпочки вставая,
и на старом платьце твоём
кружево черёмуховой ветки.
— Зоя хорошеет с каждым днём, —
словом перекинутся соседки.

В школьных коридорах яркий свет.
Ты пройдёшь в широком этом свете.
Юноша одних с тобою лет
удивится, вдруг тебя заметив.
Вздрогнет, покраснеет, не поймёт.
Сколько лет сидели в классе рядом,
спорили, не ладили...

И вот
глянула косым коротким взглядом,
волосы поправила рукой,

озарённая какой-то тайной.
Так когда ж ты сделалась такой —
новой,

дорогой,

необычайной?

Нет, совсем особенной,

не той,

что парнишку мучила ночами.

Не жемчужною киномечтой,

не красоткой с жгучими очами.

— Что ж таится в ней?

— Не знаю я.

— Что, она красивая?

— Не знаю.

Но, какая есть, она — моя,

золотая,

ясная,

сквозная. —

И увидит он свою судьбу

в девичьей летающей походке,

в прядке, распушившейся на лбу,

в ямочке на круглом подбородке.

(Счастье, помноженное на страданье,
в целом своём и дадут, наконец,
это пронзительное, как рыданье,
тайное соединение сердец.

Как началось оно?

Песнею русской?

Длинной беседой в полуночный час?

Или таинственной улочкой узкой,

никому неведомой, кроме нас?

Хочешь —

давай посмеёмся, поплачем!

Хочешь —

давай пошумим,

помолчим!

Мы — заговорщики.

Сердцем горячим
я прикоснулась к тебе в ночи.)

Вот они — дела!

А как же ты?
Сердца своего не понимая,
ты жила.

Кругом цвели цветы,
наливались нивы силой мая.
Травы просыпались ото сна,
всё шумнее делалась погода,
и стояла поздняя весна
твоего осьмнадцатого года.
За пронзённой солнцем пеленой
та весна дымилась пред тобою
странною, неназванной, иной,
тайной и заманчивой судьбою.
Что-то будет!

Скоро ли?

А вдруг!
Тополя цветут по Подмосковью,
и природа светится вокруг
странным светом,
может быть, любовью.

Ну вот.

Такой я вижу Зою
в то воскресенье, в полдне том,
когда военною грозою
пахнуло в воздухе сухом.
Теперь, среди военных буден,
в часок случайной тишины,
охотно вспоминают люди
свой самый первый день войны.
До мелочей припоминая
свой мир,

свой дом,
свою Москву,
усмешкой горькой прикрывая
свою обиду и тоску.
Ну, что ж, друзья!
Недолюбили,
недоработали,
не так,

как нынче хочется, дожили
до первых вражеских атак.
Но разве мы могли б иначе
на свете жить?

Вины ничьей
не вижу в том, что мы поплачем,
бывало, из-за мелочей.
Мы всё-таки всерьёз дружили,
любили, верили всерьёз.
О чём жалеть?

Мы славно жили.
Как получилось, как пришлось.
Но сразу,

вихрь,

толчок,

минута,

и, ничего не пощадив,
на полутоне сорван круто
с трудом налаженный мотив.
Свинцовым зноем полыхнуло,
вошло без стука в каждый дом
и наши окна зачеркнуло
чумным безжалостным крестом.
Крест-накрест синие полосы
на небо, солнце и берёзки,
на наше прошлое легли,
чтоб мы перед собой видали
войной зачеркнутые дали,
чтоб мы забыться не могли.
Глаза спросонок открывая,
когда хлестнёт по окнам свет,
мы встrepенёмся, вспоминая,
что на земле покоя нет.
Покоя нет и быть не может.
Окно, как раненая грудь.
Нежитрый путь доньше прожит.
Отныне начат новый путь.
Всё в мире стало по-другому.
Неверен шум, коварна тишь.

Ты выйдешь вечером из дому,
вокруг пытливо поглядишь.

Но даже в этой старой даче,
в тревожный погружённой мрак,
всё изменилось, всё иначе,
ещё никто не знает как.

ВТОРАЯ ГЛАВА

С девятого класса, с минувшего лета,
у тебя была книжечка серого цвета.
Её ты в отдельном кармане носила
и в месяц по двадцать копеек вносила.

Мы жили настолько свободно и вольно,
не помня о том, что бывает иначе,
что иногда забывали невольно,
что мы комсомольцы и что это значит.
Всё праздником было весёлым и дерзким,
жилось нам на свете светло и просторно.
Развеялось детство костром пионерским,
растаяло утренней песенкой горна.
Вы в мирное время успели родиться
и горьких препятствий не знали вначале,
но ритмом былых комсомольских традиций
сердца возмужавшие застучали.
И в знойные ночи военного лета
вы всей своей кровью почувяли это.
Ещё тебе игр недоигранных жалко,
и книг непрочитанных жаль, и ещё ты
припрячешь, — авось пригодится, — шпаргалку.
А вдруг ещё будут какие зачёты!
Ещё вспоминаешь в тоске неминуемой
любимых товарищей, старую парту...
Ты всё это помнишь и любишь? Тем лучше.
Всё это поставлено нынче на карту.
Настала пора, и теперь мы в ответе
за каждый свой взнос в комсомольском билете.
И родина нынче с нас спрашивать вправе
за каждую буковку в нашем уставе.
Тревожное небо клубится над нами.
Подходит война к твоему изголовью.

И больше нам взносы платить не рублями,
а может быть, собственной жизнью и кровью.

Притоптанным житом, листвою опалой,
сожжённая солнцем, от пыли седая,
советская армия,

ты отступала,
на ноги истёртые припадая.
Искрились волокна сухой паутины,
летели на юг неизменные гуси,
ты шла, покидая поля Украины,
ты шла, оставляя леса Беларуси.
А люди?

А дети?

Не буду, не буду.
Ты помнишь сама каждой жизнью своею
Но кровь свою ты оставляла повсюду,
наверно затем, чтоб вернуться за нею.
О, запах шинельного чёрного пота!
О, шарканье ног по кровавому следу!
А где-то уже поджикивал кто-то,
трусливо и жалко пиная победу.
Как страшно и горько подумать, что где-то
уже суетились, шипя и ругая.
О чём ты?

Не вздрагивай, девочка, это
не те, за кого ты стоишь, дорогая.

Нет, это не те, чьи любимые люди
в окопах лежат у переднего края.
Что в лад громыханью советских орудий
и дышат и верят.

Не те, дорогая,
Нет, это не те, что в казённом конверте,
в бессильных, неточных словах извещенья,
услышали тихое сердце бессмертья,
увидели дальше зарево мщенья.
Нет, это не те, что вставали за Пресню,
Владимирским трактом в Сибирь уходили,
что плакали, слушая русскую песню,
и пушкинский стих, как молитву, твердили,

Они — это нелюди, копоть и плесень,
мышинные шумы, ужмылки косые.
И нет у них родины, нет у них песен,
и нет у них Пушкина и России.

Но Зоя дрожит и не знает покоя,
от гнева бледнея,

от силы темнея:

«Мне хочется что-нибудь сделать такое,
чтоб стала победа слышней и виднее».

Стояло начало учебного года.
Был утренний воздух прохладен и сладок.
Кленовая, злая, сухая погода,
шуршание листьев и шорох тетрадок.
Но в этом учебном году по-другому.
Зенитки, взведённые в сквериках рыжих.

В девятом часу ты выходишь из дому,
совсем налегке,

без тетрадок и книжек.

Мне эта дорога твоя незнакома.

В другой стороне двести первая школа.

Осенней Москвою,

по путёвке райкома,

идёт комсомолка в МК комсомола.

Осенней Москвою,

октябрьской Москвою.

Мне видится взгляд твой бессонный и жёсткий.

Я только глаза от волненья закрою

и сразу увижу твои перекрёстки.

Душе не забыть тебя,

сердцу не бросить,

Как женщину в горе,

без маски, без позы.

Морщинки у глаз,

промелькнувшая проседь,

на горьких ресницах повисшие слёзы.

Все запахи жизни, проведенной вместе,

опять набежали, опять налетели,—

обрызганной дождиком кровельной жести

и острой листвы, отмечённой к панели,
Всё двигалось,

шло,

продолжалась работа,
и каждая улица мимо бежала.
Но тихая, тайная, тонкая нота
в осенних твоих переулках дрожала.
Звенели твои подожжённые клёны,
Но ты утешала их тёплой рукою.
Какой же была ты тогда? Оскорблённой?
Страдающей?

Плачущей?

Нет, не такую.

Ты за ночь одну на глазах возмужала,
собралась,

ремни подтянула потуже.

Как просто ты лишних людей провожала
и между бойцами делила оружие.
Какою ты сделалась вдруг деловитой.
Рассчитаны, взвешаны жесты и взгляды.
Вколочены рельсы,

и улицы взрыты,

и в переулках стоят баррикады.
Как будто с картины о битвах на Пресне,
которая стала живой и горячей.
И нету похожих стихов или песен.
Была ты

Москвой, — и не скажешь иначе.

И те, кто родились на улицах этих,
кто здесь, на глазах у Москвы, подрастали,
о ком говорили вчера, как о детях,
сегодня негаданно взрослыми стали.
Они не могли допустить, чтоб чужая
железная спесь их судьбу затоптала.
А там,

у Звенигорода,

у Можая,

шла грозная битва людей и металла.

В твоих переулках росли баррикады,
железом и рвами Москву окружали.

В МК

отбирали людей в отряды.

В больших коридорах

толпились, жужжали
вчерашие мальчики, девочки, дети,
встревоженный рой золотого народа.
Сидел молодой человек в кабинете,
москвич октября сорок первого года.
Пред ним проходили повадки и лица.
Должно было стать ему сразу понятно,
который из них безусловно годится,
которого надо отправить обратно.
И каждого он оглядывал сразу,
едва появлялся тот у порога,
улавливал еле заметные глаза
смущенье,

случайного взгляда тревогу.

Он с разных сторон их старался увидеть,
от гнева в глазах до невольной улыбки,
смутить,

ободрить,

никого не обидеть,

любую цену не сделать ошибки.
Сначала встречая, потом провожая,
иных презирал он,

гордился другими.

Вопросы жестокие им задавая,
он сам себя тоже опрашивал с ними.
И если ответить им было нечем,
и если они начинали теряться,
он всем своим юным чутьём человеческим
до сути другого старался добраться.

В октябрьском деньке,

невысоком и мгlistом,

в Москве, окружённой немецкой подковой,
товарищ Шелепин,

ты был коммунистом

со всей справедливостью нашей суровой.

Она отвечала сначала стоя,
сдвигая брови при каждом ответе:

— Фамилия?

— Космодемьянская. — Имя? — Зоя.

— Год рождения? — Двадцать третий.

Потом она села на стул. А дальше следил он, не кроется ли волнение, и нет ли рисовки,

и нет ли фальши,
и нет ли хоть крошечного сомнения.

Она отвечала на той же ноте:

— Нет, не заблудится.

— Нет, не боится.

И он, наконец, записал в блокноте последнее слово своё:

«Годится».

Заметил ли он на её лице играющий отблеск далёкого света?

Ты

не ошибся

в этом бойце,

секретарь Московского Комитета.

Отгорели жаркие леса,
под дождём погасли листья клёна,
осень поднимает в небеса
отсыревшие свои знамёна.

Но они и мокрые горят,
занимаясь с западного края.

Это полыхает не закат,
это длится бой, не угасая.

Осень, осень.

Век не позабудь
тихий запах сырости и тленья,
выбитый, размытый, ржавый путь,
мокрые дороги отступленья,
и любимый город без огня
и безлюдных улочек морщины...

Ничего, мы дожили до дня
самой долгожданной годовщины.

И возник из ветра и дождя
смутного дымящегося века
гордый голос нашего вождя,

утомлённый голос человека.
Длинный фронт — живая полоса
человечьих судеб и металла.
Сквозь твоих орудий голоса
слово невредимым пролетало.
И разноязыкий пёстрый тыл,
дождь и звёзды, солнце и позёмка.
И повсюду Сталин говорил,
медленно, устало и негромко.

Как бы мне надёжнее сберечь
сталинскую гордую усталость?
Как бы мне запомнить эту речь,
чтоб она в крови моей осталась?
Я запомню неотступный взгляд
вставшей в строй московской молодёжи
и мешки нехитрых баррикад, —
это, в сущности, одно и то же.
И на фронт идущего бойца,
ставшего задумчивей и строже,
и сухой огонь его лица —
это, в сущности, одно и то же.
Он сказал:

— Победа!

Будет так.
Я запомню, как мой город ожил,
сразу став и старше и моложе,
первый выстрел наших контратак, —
это, в сущности, одно и то же.
Это полновесные слова
невесомым схвачены эфиром.
Это осаждённая Москва
гордо разговаривает с миром.
Дети командиров и бойцов,
бурей разлучённые с отцами,
будто голос собственных отцов
этот голос слушали сердцами.
Женщины, отдавшие мужей,
цепенеющие в ожиданье,
в одинокой тишине своей
слушали его, как обещанье.

Севастополь.

Трудная пора.
Артобстрел, недалёкий грохот боя,
длинный гул осеннего прибоя.
Только вдруг взорвались рупора.
Это Сталин говорит с тобою.

Ленинград, безлюдный и седой.
Не ищи слезы в бессонном взгляде.
Встретившись лицом к лицу с бедой,
Ленинград не молит о пощаде.
Доживёшь?

Дотерпишь?

Достоишь?

Достою, не сдамся.

Раскололась
чистая, отчётливая тишь,
и в неё ворвался тот же голос.
Между ленинградскими домами
о фанеру, мрамор и гранит
бился голос сильными крылами.
Это Сталин с нами говорит:
— Предстоит ещё страданий много,
но твоя отчизна победит. —
Кто сказал:

«Воздушная тревога?»

Мы спокойны — Сталин говорит.

Что такое радиоволна?
Это колебания эфира.
Это значит — речь его слышна
в самых разных уголочках мира.
Прижимают к уху эбонит
коммунисты в харьковском подполье,
клонится берёзка в чистом поле, —
это Сталин с нами говорит.

Что такое радиоволна?
Я не очень это понимаю.

Прячется за облако луна.
Ты бежишь, кустарники ломая.

Всё свершилось. Всё совсем всерьёз.
Ты волочишь хвороста вязанку.
Между расступившихся берёз
ветер настигает партизанку.
И она, вступая в лунный круг,
ветром захлебнётся на минуту.
Что со мною приключилось вдруг?
Мне легко и славно почему-то.

Что такое радиоволна?
Ветер то московский, —
ты и рада.
И внезапной радостью полна,
Зоя добежала до отряда.
Как у нас в лесу сегодня сыро!
Хоть умри, а не горит костёр.

Ветер пальцы тонкие простёр.
Может быть, в нём та же дрожь эфира?

Только вдруг как вспыхнула берёста!
Это кто сказал, что не разжечь?
Вот мы и согрелись!

Это просто
к вам домчалась сталинская речь.
Будет день большого торжества.
Как тебе ни туго — верь в победу!

И летит осенняя листва
по её невидимому следу.

За остановившейся рекою
партизаны жили на снегу.
Сами, отрешившись от покоя,
не дали покоя и врагу.
Ко всему привыкнешь понемногу.
Жизнь прекрасна! Горе — не беда!
Аккуратно портили дорогу,
резали связные провода.
Начались декабрьские метели,
дули беспощадные ветра.

Под открытым небом три недели,
греясь у недолгого костра,

спит отряд, и звёзды над отрядом...
Как бы близко пуля ни была,
если даже смерть почти что рядом,
люди помнят про свои дела,
думают о том, что завтра будет,
что-то собираются решить.
Это правильно.

На то мы люди.
Это нас спасает, может быть.

И во мраке полночи вороньей
Зоя вспоминает в свой черёд:
«Что там в Тимирязевском районе?
Как там мама без неё живёт?
Хлеб, наверно, ей берёт соседка.
Как у ней с дровами?

Холода!
Если дров не хватит, что тогда?»

А на утро донесла разведка,
что в селе Петрищеве стоят,
отдыхают вражеские части.
— Срок нам вышел, можно и назад.
Можно задержаться... В нашей власти.
— Три недели мы на холоду.
Отогреться бы маленько надо.
Смотрит в землю командир отряда.
И сказала Зоя:

— Я пойду.
Я ещё не очень-то устала.
Я ещё успею отдохнуть.
Как она негаданно настала,
жданная минута.
Добрый путь!
Узкая ладошка холодна —
от мороза или от тревоги?
И уходит девочка одна
по своей безжалостной дороге.

Тишина, ах, какая стоит тишина!
Даже шорохи ветра не часты и глухи.
Тихо так, будто в мире осталась одна
эта девочка в ватных штанах и тружее.
«Значит, я ничего не боюсь и смогу
сделать всё, что приказано...»

Завтра не близко.

Догорает костёр, разожжённый в снегу,
и последний дымок его стелется низко.
Погоди ещё чуточку, не потужай.
Мне с тобой веселей. Я согрелась немного.

Над Петрищевым — три огневых петуха.
Там, наверное, шум, суета и тревога.

Это я подожгла!

Это я!

Это я!

Всё исполню, верна боевому приказу.
И сильнее противника воля моя,
и сама я невидима вражьему глазу.
Засмеяться?

Запеть?

Погоди, погоди!..

Вот когда я с ребятами встречусь,

когда я...

Сердце весело прыгает в жаркой груди,
и счастливей колотится кровь молодая.
Ах, какая большая стоит тишина!
Приглушённые ёлочки к шороху чутки.

Как досадно, что я ещё крыл лишена!

Я бы к маме слетала хоть на две минутки.
Мама, мама,

какой я была до сих пор?

Может быть, недостаточно мягкой и нежной?
Я другою вернусь.

Догорает костёр.

Я одна остаюсь в этой полночи снежной.
Я вернусь,

я найду себе верных подруг,
Стану сразу доверчивей и откровенней...

Тишина, тишина нарастает вокруг.
Ты сидишь, обхвативши руками колени,
Ты одна.

Ах, какая стоит тишина!
Но не верь ей, прислушайся к ней, дорогая.
Тихо так, что отчётливо станет слышна
вся страна,
 вся война,
 до переднего края.

Ты услышишь всё то, что не слышно врагу.
Под защитным крылом этой ночи вороньей
заскрипели полозья на крепком снегу,
 тащат трудную тягу разумные кони,
Мимо сосенок чётких и лунных берёз,
через линию фронта, огонь и блокаду
нагружённый продуктами красный обоз
осторожно и верно ползёт к Ленинграду.
Люди, может быть, месяц в пути, и назад
не вернёт их ни страх, ни железная сила.
Это наша тоска по тебе, Ленинград,
наша русская боль из немецкого тыла.
Чем мы можем тебе хоть немного помочь?
Мы пошлём тебе хлеба, и мяса, и сала.

Он стоит,
 погружённый в осадную ночь,
этот город,
 которого ты не видала.
Он стоит под обстрелом чужих батарей.
Рассказать тебе, как он на холоде дышит?
Про его матерей,
 потерявших детей
и тащивших к спасенью чужих ребятишек.
Люди поняли цену того, что зовут
немудрёным таинственным именем жизни,
и они иступлённо её берегут,
потому что — а вдруг? — пригодится отчизне
Это проще — усталое тело сложить,
 никогда и не выйдя к переднему краю.
Слава тем, кто решил до победы дожить.

Понимаешь ли, Зоя?

— Я всё понимаю.

Понимаю.

Я завтра проникну к врагу,
и меня не заметят,

не схватят,

не свяжут.

Ленинград, Ленинград!

Я тебе помогу.

Прикажи мне!

Я сделаю всё, что прикажут.

И как будто в ответ тебе,

будто бы в лад

застучавшему сердцу

услышь канонаду.

На высоких басах начинает Кронштадт,
и Малахов курган отвечает Кронштадту!

Проплывают больших облаков паруса
через тысячи вёрст человеческого горя.

Артиллерии русской гремят голоса
от Балтийского моря до Чёрного моря.

Севастополь.

Но как рассказать мне о нём?

На светящемся гребне девятого вала
он причалил к земле боевым кораблём,
этот город,

которого ты не видала.

Сходят на берег люди.

Вздыхает вода.

Что такое геройство?

Я так и не знаю.

Севастополь...

Давай помолчим!

Но тогда,

понимаешь, он был ещё жив.

— Понимаю.

Понимаю.

Я завтра пойду и зажгу
и конюшни, и склады, согласно приказу.
Севастополь, я завтра тебе помогу!

Я ловка и невидима вражьему глазу.

Ты невидима вражьему глазу?
А вдруг...

Как тогда?

Что тогда?

Ты готова на это?

Тишина, тишина нарастает вокруг.

Подымается девочка вместо ответа.

Далеко-далеко умирает боец...

Задышается мать, испуганно рыдая.

Страшной глыбой заваленный стонет отец,
и сирот обнимает вдова молодая.

Тихо так, что ты всё ещё слышишь в ту ночь,
потрясённой планеты взволнованный житель:

— Дорогие мои, я хочу вам помочь!

Я готова.

Я выдержу всё.

Прикажите.

А кругом тишина, тишина, тишина,
и мороз

не дрожит,

не слабеет,

не тает...

И судьба твоя завтрашним днём решена.

И дыханья

и голоса

мне не хватает.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Вечер освещён сияньем снега.

Тропки завалило, занесло.

Запахами тёплого ночлега

густо дышит русское село.

Путник, путник, поверни на запах,

в сказочном лесу не заблудись.

Как собачий лай, чужая речь.
Привели её в избу большую.
Куртку ватную сорвали с плеч,
Старенькая бабка топит печь...
Пламя вырывается, бушует...
Сапоги с трудом стянули с ног.
Гимнастёрку сняли, свитер сняли,
Всю, как есть,

от головы до ног,
всю обшарили и обыскали.
Малые ребята на печи
Притаились.

Смотрят и не дышат.
Тише, тише, сердце, не стучи, —
Пусть враги тревоги не услышат.
Каменная оторопь — не страх.
Плечики остры, и руки тонки.
Ты осталась в стёганных штанах
и в домашней старенькой кофтёнке.
И на ней мелькают там и тут
мамины заштопки и заплатки,
и родные запахи живут
в каждой сборочке и в каждой складке.
Всё, чем ты дышала и росла,
вплоть до этой кофточке измятой,
ты с собою вместе принесла, —
пусть глядят немецкие солдаты.
Постарался поудобней сесть
офицер,

бумаги вынимая.

Ты стоишь пред ним, какая есть —
тоненькая,

русская,

прямая.

Это всё не снится, всё всерьёз.

Вот оно надвинулось, родная.

Глухо начинается допрос.

— Отвечай!

— Я ничего не знаю.

Вот и всё.

Вот это мой конец.

Не конец. Ещё придётся круто,
Это всё враги,

а я — боец.

Вот и наступила та минута.

— Отвечай, не то тебе капут! —

Он подходит к ней развалкой пьяной.

— Кто ты есть, и как тебя зовут?

Отвечай!

— Меня зовут Татьяной.

(Можно мне признаться?

Почему-то

ты ещё родней мне оттого,
что назвалась в страшную минуту
именем ребёнка моего.

Тоненькая, смуглая травинка,
нас с тобой разбило, разнесло.

Унесло тебя, моя кровинка,

в пыльное татарское село.

Как мне страшно!

Только бы не хуже.

Как ты там, подруженька, живёшь?

Мучаешь кота,

купаешь куклу в луже,

прыгаешь и песенки поёшь.

Дождь шумит над вашими полями,

облака проходят над Москвой.

И гудит пространство между нами

всей моей беспомощной тоской.

Как же вышло так, что мы не вместе?

Длинным фронтом вытянулся бой.

Твой отец погиб на поле чести.

Мы одни на свете,

я — с тобой.

Почему же мы с тобою розно?

Чем же наша участь решена?

Дымен ветер,

небо дышит грозно,

требуется к ответу тишина.

Начинают дальние зенитки,
и перед мучителем своим
девочка молчит под страхом пытки,
называясь именем твоим.

Родина,
мне нет другой дороги.
Пусть пройдут, как пули, сквозь меня
все твои раненья и тревоги,
все порывы твоего огня.
Пусть во мне страданьем отзовется
каждая печаль твоя и боль.
Кровь моя твоим порывом бьётся.
Дочка,
отпусти меня,
позволь.

Всё, как есть, прости мне, дорогая.
Вырастешь, тогда поговорим.
Мне пора.

Горя и не сгорая,
терпит пытку девочка другая,
называясь именем твоим.)

Хозяйка детей увела в закут.
Пахнет капустой, скребутся мыши.
— Мама, за что они её бьют?
— За правду, доченька. Тише, тише...
— Мама, глянь-ка в щелочку, глянь:
у неё сорочка в крови.
Мне страшно, мама, мне больно.
— Тише, доченька, тише, тише...
— Мама, зачем она не кричит?
Она, небось, железная?
Живая бы давно закричала.
— Тише, доченька, тише, тише...
— Мама, а если её убьют,
стало быть, правду убили тоже?
— Тише, доченька, тише... —

Нет!
Девочка, слушай меня без дрожи.
Слушай,

тебе одиннадцать лет.

Воду пьёшь, словно русскую песню поёшь,
словно ветер глотаешь над лунной рекою.

Как бы славно, прохладно она потекла!
— Дайте пить... —

истомлённая девушка просит.
Но горящую лампочку, без стекла,
к опалённым губам её немец подносит.

Эти детские губы,
сухие огни,
почерневшие, стиснутые упрямо.
Как недавно с усилием лепили они
очень трудное,
самое главное —
«мама».

Пели песенку,
чуть шевелились во сне,
раскрывались, взволнованы страшною сказкой,
перепачканы ягодами по весне,
выручали подругу удачной подсказкой.

Эти детские губы,
сухие огни,
своевольно очерчены женскою силой.
Не успели к другим прикоснуться они,
никому не сказали:
«люблю»
или
«милый».

Кровяная запекшаяся печать.
Как они овладели святою наукой
не дрожать,
ненавидеть,
и грозно молчать,
и надменной сжиматься под смертною мукой
Эти детские губы,

сухие огни,
воспалённо тоскующие по влаге,

в справедливую шинель бойца,
ты обязан помнить все приметы
этого звериного лица.
Ты его преследовать обязан,
как бы он ни отступал назад,
чтоб твоей рукою был наказан
гитлеровской армии солдат,
чтобы он припомнил, умирая,
на снегу кровавый Зоин след.

Но постой, постой, ведь я не знаю
всех его отличий и примет.
Малого, большого ль был он роста?
Черномазый,

рыжий ли?

Бог весть!

Я не знаю.

Как же быть?

А просто.

Бей любого!

Это он и есть.

Встань над ним карающей грозой.

Твёрдо помни:

Это он и был,

это он истерзанную Зою

по снегам Петрищева водил.

И покуда собственной рукою

ты его не свалишь наповал,

я хочу, чтоб счастья и покоя

воспалённым сердцем ты не знал.

Чтобы видел,

будто бы воочью,

русское село, —

светло, как днём.

Залит мир декабрьской лунной ночью,

пахнет ветер дымом и огнём.

И уже почти что над снегами,

лёгким телом устремясь вперёд,

девочка

последними шагами

босиком в бессмертие идёт.

Коптящая лампа, остывшая печка.
Ты спишь или дремлешь, дружок?
...Какая-то ясная-ясная речка,
зелёный крутой бережок.

Приплыли к Марусеньке серые гуси,
большими крылами шумят...
Вода достаёт по колено Марусе,
но белые ноги горят...

Вы, гуси, летите, воды не мутите,
пускай вас домой отнесёт...

От песенки детской до пытки немецкой
зелёная речка течёт.

Ты в ясные воды её загляделась,
но вдруг повалилась ничком.
Зелёная речка твоя загорелась,
и всё загорелось кругом.

Идите скорее ко мне на подмогу!
Они поджигают меня.
Трубите тревогу, трубите тревогу!
Спасите меня от огня!
Допрос ли проходит?

Собаки ли лают?

Всё сбилось и спуталось вдруг.
И кажется ей,
 будто сёла пылают,
деревни пылают вокруг.
Но в пламени этом шаги раздаются.
Гремят над землёю шаги.
И падают наземь,
 и в страхе сдаются,
и гибнут на месте враги.
Гремят барабаны, гремят барабаны,
труба о победе поёт.
Идут партизаны, идут партизаны.
Железное войско идёт.

Сейчас это кончится.

Боль прекратится.

Недолго осталось терпеть.

Ты скоро увидишь любимые лица,
тебе не позволят сгореть.

И вся твоя улица,

вся твоя школа

к тебе на подмогу спешит...

Но это горят не окрестные сёла, —
избитое тело горит.

Но то не шаги, не шаги раздаются, —
стучат топоры у ворот.

Сосновые брёвна стоят и не гнутся.

И вот он готов, эшафот.

Лица неспроставшиеся хмуры,
будто бы в золе или в пыли.
На рассвете из комендатуры
Зоину одежду принесли.
И старуха, ёжась от тревоги,
кое-как скрывая дрожь руки,
на твои пылающие ноги
натянула старые чулки.
Светлым ветром память пробегала
по её неяркому лицу:
как-то дочек замуж отдавала,
одевала бережно к венцу.
Жмурились от счастья и от страха,
прижимались к высохшей груди...
Свадебным чертогом встала плаха;
голубица белая, гряди.
Нежили,

голубили,

растили,

а чужие провожают в путь.

— Как тебя родные окрестили?

Как тебя пред богом помянуть?

Девушка взглянула краем глаза,
повела ресницами верней...

Хриплый лай немецкого приказа:
офицер выходит из дверей.
Два солдата со скамьи привстали,
и, присев на хромоногий стул,
он спросил угрюмо:

— Где ваш Сталин?

Ты сказала:

— Сталин на посту. —

Сталин на работе.

Это значит:

над землёй рассвет ещё плывёт.
Дымы розовеют.

Это начат

новый день сражений и работ.
Управляясь с хитрыми станками,
в складке губ достойно скрыв печаль,
женщина

домашними руками

вынимает новую деталь.

Семафоры,

рельсы,

полустанки,

скрип колёс по мёрзлому песку.

Бережно закутанные танки

едут на работу под Москву.

Просыпаются в далёком доме

дети, потерявшие родных.

Никого у них на свете, кроме

Родины.

Она согреет их.

Вымоет, по голове погладит,

валенки натянет, —

пусть растут!

Молока нальёт,

за стол посадит.

Это значит — Сталин на посту.

Это значит:

вдоль по горизонту,
где садится солнце в облака,
по всему немыслимому фронту

бой ведут советские войска.

Это значит:

до сердцебиенья,
до сухого жжения в груди
в чёрные недели отступленья
верить, что победа впереди.

Это значит:

наши самолёты
плавно набирают высоту.
Дымен ветер боя и работы.

Это значит — Сталин на посту.

Это значит:

вставши по приказу,
только бы не вскрикнуть при врагах, —
ты идёшь,

не оступаясь ни разу,
на почти обугленных ногах.

Как морозно!

Как светла дорога,
утренняя, как твоя судьба!
Поскорей бы!

Нет, ещё немного!
Нет, ещё не скоро...

От порога...
по тропинке...

до того столба...
Надо ведь ещё дойти дотуда,
этот длинный путь ещё прожить...
Может, ведь ещё случится чудо...
Где-то я читала...

Может быть...
Жить...

Потом не жить.
Что это значит?

Видеть день...
Потом не видеть дня...

Это как?
Зачем старуха плачет?
Кто её обидел?

Жаль меня!
Почему ей жаль меня?
Не будет
ни земли,
ни боли...
Слово «жить»...
Будет свет,
и снег,
и эти люди.
Будет всё, как есть.
Не может быть!
Если мимо виселицы прямо
всё итти к востоку — там Москва.
Если очень громко крикнуть: «Мама!»
Люди смотрят.
Есть ещё слова...
— Граждане,
не стойте,
не смотрите.
(Я живая, — голос мой звучит.)
Убивайте их, травите, жгите...
Я умру, но правда победит!
Родина! —
Слова звучат, как будто
это вовсе не в последний раз.
— Всех не перевешать,
много нас!
Миллионы нас!..
Ещё минута —
и удар наотмашь между глаз.
Лучше бы скорей,
пускай уж сразу,
чтобы больше не коснулся враг.
И уже без всякого приказа
делает она последний шаг.
Смело поднимаешься сама ты.
Шаг на ящик,
к смерти
и вперёд.
Вкруг тебя немецкие солдаты,
русская деревня,

твой народ.

Вот оно!

Морозно, снежно, мглисто...
Розовые думы... Блеск дорог...
Родина!

Тупой сапог фашиста
выбивает ящик из-под ног.

(Жги меня, страдание чужое,
стань, родное, мукою моей.
Мне хотелось написать о Зое
так, чтоб задохнуться вместе с ней.
Мне хотелось написать про Зою,
чтобы Зоя начала дышать,
чтобы стала каменной и злою
русская прославленная мать.
Чтоб она не просто погрузила,
уронив слезинку на ладонь,
Ненависть — не слово,
это — сила,
бьющий безошибочно огонь.
Чтобы эта девочка чужая
стала дочкой тысяч матерей.
Помните о Зое, провожая
в путь к победе собственных детей.

Мне хотелось написать про Зою,
чтобы той, которая прочтёт,
показалось:

тропкой снеговую
в тыл врага сама она идёт.
Под шинелью спрятаны гранаты.
Ей дано задание.

Всё всерьёз.
Может быть, немецкие солдаты
ей готовят пытку и допрос?
Чтоб она у совести спросила,
сможет ли,

и поняла:

— Смогу.

я верёвку с горла сорвала.
Может, я затем жива осталась,
чтобы ты в стихах не умерла.)

Навсегда сохрани фотографию Зои.
Я, наверно, веки её позабыть не смогу.
Это девичье тело,

не мёртвое
и не живое.

Это Зоя из мрамора

тихо лежит на снегу.

Беспощадной петлёй перерезана тонкая шея,
Незнакомая власть в запрокинутом лице твоём.

Так любимого ждут,

сокровенной красой хорошея,

изнутри озаряясь таинственным женским огнём.

Только ты не дождалась его, снеговая невеста.

Он — в бойцовой шинели,

на запад лежит его путь.

Может быть, недалеко от этого страшного места,
где ложились снежинки на строгую девичью грудь.

Вечной силы и слабости неповторимо единство.

Ты совсем холодна, а меня прожигает тоска.

Не ворвалось в тебя, не вскипело в тебе материнство,
тёплый ротик ребёнка не тронул сухого соска.

Ты лежишь на снегу.

О, как много за нас отдала ты,
чтобы гордо откинуться чистым прекрасным лицом!

За доспехи героя,

за тяжёлые ржавые латы,

за святое блаженство быть храбрым бойцом.

Стань же нашей любимицей, символом правды и силы,
чтоб была наша верность, как гибель твоя, высока.

Мимо твоей занесённой снегами могилы, —
на запад, на запад! —

идут,
присягая,
войска.

ЭПИЛОГ

Когда страна узнала о войне,
в тот первый день,
в сумятице и бреде,
я помню я подумала о дне,
когда страна узнает о победе.
Каким он будет, день великий тот?
Конечно, солнце! Непременно лето!
И наш любимый город зацветёт
цветами электрического света.
И столько самолётов над Москвой,
и город так волнующе чудесен,
и мы пойдём раздвинутой Тверской,
среди цветов, и музыки, и песен.
Смеемся и торжествуя, мы пойдём,
сплетая руки в тесные объятия.
Все вместе мы! Вернулись в каждый дом
мужья и сыновья, отцы и братья.
Война окончена! Фашизма в мире нет!
Давайте петь и ликовать, как дети!
И первый год прошёл, как день, как десять лет,
как несколько мгновений, как столетье.
Год отступлений крови и утрат.
Потерь не счесть, страданий не измерить,
Припомни всё и оглянись назад, —
и разум твой откажется поверить.
Как многих нет и не сыскать могил,
и памятников славы не поставить.
Но мы живём, и нам хватило сил.
Всех сил своих мы не могли представить.
Выходит, мы сильнее самих себя.
Мы — сталинской традиции и стали.
Всей кровью ненавиза и любя,
мы вынесли, дожили, достояли.
Мы достойны! Он прожит, этот год.
Мы выросли, из нас иные седы.
Но это всё пустое! Он придёт,
он будет, он наступит, день победы!
Пока мы можем мыслить, говорить
и подыматься по команде: «К бою!»

Пока мы дышим и желаем жить,
мы видим этот день перед собою.
Она взойдёт, усталая заря,
согретая дыханием горячим,
живую кровью над землёй горя
всех тех, о ком мы помним и не плачем.
Не можем плакать. Слишком едок дым,
и солнце светит слишком редким светом...
Он будет, этот день, но не таким,
каким он представлялся первым летом.

Пускай наступит в мире тишина.
Без пышных фраз, без грома, без парада
судьба земли сегодня решена.
Не надо песен.

Ничего не надо.
Снять сапоги и ноги отогреть,
поесть, умыться и поспать по чести...

Но мы не сможем дома усидеть,
и всё-таки мы соберёмся вместе.
И всё-таки, конечно, мы споём
ту тихую,

ту русскую,

ту нашу.

И встанем и в молчанье разопнём
во славу павших дружескую чашу.
За этот день отдали жизнь они.
И мы срываем затемнение с окон.
Пусть загорятся чистые огни
во славу павших в воздухе высоком.
Смесь и плача, мы пойдём гулять,
не выбирая улиц, как попало,
и незнакомых будем обнимать
затем, что мы знакомых встретим мало.
Мой милый друг, мой сверстник, мой сосед!
Нам этот день — за многое награда.
Война окончена. Фашизма в мире нет.
Во славу павших радоваться надо.
Пусть будет солнце, пусть цветёт сирень,
пусть полночь затянутся беседы...

Но вот настанет следующий день,
тот первый будний день за праздником победы.

Стук молотов, моторов и сердец...
И к творчеству вернувшийся художник
вздохнёт глубоко и возьмёт резец.
Резец не дрогнет в пальцах осторожных.
Он убивал врагов, он был бойцом,
держал винтовку сильными руками.
Что хочет он сказать своим резцом?
Зачем он выбрал самый трудный камень?
Он бросил дом, работу и покой,
он бился вместе с тысячами тысяч,
затем, чтоб возмужавшею рукой
лицо победы из гранита высечь.
В какие дали заглядишься ты,
ещё неведомый,
уже великий?..
Но мы узнаем Зоины черты
в откинutom,
чудесном,
вечном лике.

Москва, Июль — сентябрь 1942.

Отв. редактор — А. СУРКОВ.

А03841. Подп. к печати 28/XI—46 г. Тираж 100.000. Заказ 2268.

Типогр. газеты «Правда» имени Сталина. Москва, ул. «Правды», 24.

Цена 60 коп.